

В марте исполнилось четверть века со дня смерти Анны Ахматовой, последние годы жизни которой связаны с нашим пос. Комарово, где она и похоронена.

Я пришла к Анне Андреевне летом 1945 года. Мне тогда было семнадцать лет, и это определило характер нашего знакомства. Я просто позвонила ей по телефону, сказала, что я московская студентка, приехала в Ленинград на наникулы, пишу стихи, мечтаю показать их ей. «Пожалуйста, приходите. Завтра в четыре часа». И она положила трубку, не спросив меня, знаю ли я ее адрес. Жила она в то время на Фонтанке, в Шереметьевском дворце, и считала, видимо, что это всем известно...

Жила Ахматова тогда даже не скажешь бедно. Бедность — это мало чего-то, у нее же не было ничего. В пустой комнате стояло небольшое старое бюро и железная кровать, покрытая плохим одеялом. Видно было, что кровать жесткая, одеяло холодное. Готовность любить, с которой я переступила порог, смешалась у меня с безумной тоской, с ощущением близости катастрофы...

Ахматова предложила мне сесть на единственный стул, сама легла на кровать, закинув руки за голову (ее любимая поза), и сказала: «Читайте стихи». Теперь, конечно, странно вспомнить, что я стала читать, ничуть не смущаясь. Она одобритительно кивала. Впоследствии я узнала, что Ахматова не в силах была обидеть кого бы то ни было дурным отзывом. Она рассказывала: «Если мне не нравятся, я молчу или говорю что-нибудь вялое, человеческое...»

Вскоре общие друзья передали мне отзывы Ахматовой: «Независимая девочка, не то что некоторые — сразу от двери начинают ползти по коврику». Друзья называли меня «своей». «Пусть девочка приходит», — сказала им Ахматова. И я стала бывать у нее часто, два-три раза в неделю, весь июль и август. Я звонила ей по телефону, она коротко говорила: «Можете прийти» (по телефону она вообще всегда была односложной, ненавидела его, по-моему). Я шла в ее Фонтанный дворец, в эту, такую недворцовую, комнату.

Ахматова страдала от одиночества. Я поняла это, когда сама пожаловалась ей на одиночество. Я рано осталась сиротой и с шестнадцати лет жила в Москве одна, в комнате, где когда-то жил мой отец. «Есть уединение и одиночество», — сказала она. — Уединения ищут, от одиночества бегут. Ужасно, когда с твоей комнатой никто не связан, никто в ней не дышит, никто не ждет твоего возвращения».

Для самой Ахматовой в ее уединении и одиночестве был неожиданным тот взрыв любви и восхищения, которым ее одали москвичи на знаменитом вечере в Колонном зале в 1946 году, когда она читала стихи вместе с Пастернаком. Вечер этот описан многими. Ахматова тогда была в черном платье, на плечах — белая с кистями шаль. Держалась она на эстраде великолепно, однако заметна была скованность и какая-то тревога. Наконец ей пришлось встать. «Наизусть я своих стихов не знаю, а с собой у меня больше нет». Залу было ясно, что это вынужденные слова. Овации продолжали греметь: пронзительная, отнюдь политически не наивная Ахматова сразу же почувствовала, что они не сулят ей добра. Этот вечер вскоре оказался для нее роковым.

Оживление наступило в доме Ахматовой ненадолго — когда вернулся с войны, из Берлина, ее сын Лев Николаевич Гумилев. Однажды Анна Андреевна открыла мне дверь в дорогом японском халате с драконом. Она сказала: «Вот, сын подарил. Из Германии привез». Ведь, в сущности, ей всегда так хотелось простых женских радостей. Очень была она в тот день веселая...

Впоследствии Анна Андреевна часто рассказывала всем, как она узнала о касающемся ее и Зощенко постановлении ЦК. Газет Анна Андреевна не получала, радио у нее не было. Она ничего не знала! Кто-то позвонил, испросил, как она себя чувствует. Поз-

вонил и еще, и еще кто-то. Не чуя беды и лишь слегка недоумевая, она ровно отвечала всем, все хорошо, благодарю вас, все в порядке, благодарю вас... И выйдя зачем-то на улицу, она прочла, встав на цыпочки, поверх чужих голов, газету, с докладом Жданова.

Жизнь для нее остановилась. Когда я позвонила ей, приехав в Ленинград через десять дней, она ответила, что чувствует себя, спасибо, хорошо, но что повидаться со мной не сможет. Голос ее был мертвым.

Два месяца после этого я знала об Анне Андреевне только одно — что ее не арестовали. В свой следующий приезд я была более настойчива, сказала, что очень прошу ее со мной встретиться. Ахматова назначила мне свидание у Русского музея. С ужасным волнением я ждала ее на холодной скамейке, в плохую ноябрьскую ленинградскую погоду. Ахматова стала мне говорить, что с ней нельзя встречаться, что все ее отношения контролируются, за ней следят, в комнате — подслушивают; что общение с нею может иметь для меня самые страшные

АННА

АХМАТОВА

к ней не один раз а повторяясь, дважды, трижды...

После постановления ЦК и исключения из Союза писателей Ахматову лишили продовольственных карточек. Она получала крошечную пенсию, на которую жить было невозможно. Друзья организовали тайный фонд помощи Ахматовой. По тем временам это было истинным героизмом. Анна Андреевна рассказала мне об этом через много лет, грустно добавив: «Они покупали мне апельсины и шоколад, как больной, а я была просто голодна». Летом 1950 года Анна Андреевна попросила меня отвезти ее в Москву. Она плохо переносила дорогу



Анна Ахматова

и уже не ездил без провожатых. Как я теперь понимаю, главной целью ее поездки были хлопоты о сыне.

Анна Андреевна стала подолгу жить в Москве, по несколько месяцев. Ее здесь держали хлопоты о сыне, да и еще чем-то легче было все-таки в Москве, отчего ведь, в конце концов, множество ленинградцев в Москву переехало. К тому же жить с Ардовыми ей было всегда удобно, мальчишки — три сына Нины Антоновны — охотно исполняли поручения Анны Андреевны. Войдя в этот дом, можно было почувствовать, что она там любима и желанна.

...Летом я приезжала в Ленинград, и мы по-прежнему много ходили по улицам и садам, иногда вместе обедали в каком-нибудь кафе; однажды, направляясь в «Квисисану», мы встретили М. М. Зощенко. Он бросился к Анне Андреевне, стал горячо целовать ей руки, она тоже явно взволнована была этой встречей. И когда он отошел, произнесла задумчиво: «Мишенька...» А потом, смеясь, обратилась ко мне: «Ну, знаете, Наташа, я считаю, что сделала для вас все возможное. В каком это еще городе вам к приезду устроит встречу Ахматовой с Зощенко?» И мы еще долго о нем говорили, Анна Андреевна ведь очень высоко ценила его как писателя, говорила, что «Голубая книга» — это чудо.

Зощенко был в ту пору более спокойный, оживающий, он уже получил высочайшее разрешение зарабатывать переводами. А года за два до этой встречи у нас с Анной Андреевной был о нем такой разговор. Зощенко дали напечатать маленький рассказ. Это, конечно, был уже некий политический акт послабления, но рассказ был плохой, и все это тоже невольно отметили, сказала и я: рассказ-то плохой! Анна Андреевна очень рассердилась. «Да, вот со всех сторон только одно и слышу — Зощенко написал плохой рассказ! А скажите, почему они думают, что он должен писать для них хороший рассказ? А они хорошие? А они — что делали?» Я молчала, благодарная ей за этот урок.

Писала Анна Андреевна в те годы мало. Ей предоставили возможность зарабатывать переводами: это спасло ее от голода, но

она не раз говорила мне, что переводить и писать свое одновременно — немислимо.

Теперь положение было такое, что отказываться от работы никто не мог, и Анна Андреевна частенько брала переводы стихов, чтобы передать их нуждающимся литераторам. Однако, конечно, все равно ей приходилось тратить на это уйму времени, когда соавторствуя, когда выправляя, и я не в силах была скрыть от нее свою горечь: ведь кто может знать, чего мы из-за этого лишились?

С юности она читала латинских авторов: Овидия, Горация; знала французский, немецкий, итальянский. Лет тридцати она, по ее словам, подумала: «Как глупо прожить жизнь и не прочесть в подлиннике Шекспира». Шекспир был ее любимейшим писателем из нерусских (из русских — Пушкин и Достоевский). Она стала заниматься английским языком: первые несколько уроков ей дал Маршак, а потом сама читала всякие грамматик и самоучители, часами по восемь в день. «Через полгода я свободно читала Шекспира».

Да и вообще она была великолепно образованным человеком. Очень хорошо училась в гимназии и благодаря своей богатой памяти помнила все, чему ее учили. Она сказала: «Я и физику помню, но ведь при мне ее знали только до телефона». Всем она интересовалась и ценила реальные знания, особенно если они были сформулированы кратко и выразительно.

В 1945 году она говорила мне о невероятно растущей роли женщин в современном мире. «Мужчины скоро вообще ничего не будут делать сами. Скоро они заявят: «Война — это не мужское дело, и только откуда-то из центров будут руководить отрядами амазонок».

Она не любила осуждать людей и редко говорила о них дурно — о знакомых или о незнакомых. Однажды я пожаловалась ей на одного общего знакомого, зловещего сплетника. Она подняла брови: «Правда? Да, все что-то говорят, но со мной он — как ангел».

Другая важная ее черта — аристократизм. И внешности, и душевному ее складу было присуще необычайное благородство, которое придавало гармоничную величавость всему, что она говорила и делала.

У Анны Андреевны были, конечно, свои недостатки, но и они как-то ничего в ней не нарушали. Она была очень цельным и крупным человеком и очень ясным, как и ее поэзия.

После смерти Сталина Ахматовой сразу стало легче, хотя бы в денежном отношении. Вышел ее перевод пьесы «Мария Делорм» в собрании сочинений Виктора Гюго, она получила первые крупные деньги, они доставили ей много удовольствия. Правда, она никак не изменила своего быта и не предалась жизнеустройству. Прожив всю жизнь бездомной, она не стала на склоне лет обзаводиться хозяйством. Я как-то спросила Анну Андреевну: «Если бы я стала богатой, сколько времени я получила бы от этого удовольствие?» Она ответила с присущей ей ясностью: «Недолго. Дней десять». Когда у меня тоже завелись деньги, я спросила Анну Андреевну, что мне с ними делать. Она отвечала опять-таки твердо: «Строить жилье. Жилье — это главное». Но сама она по-прежнему просила пристанища: когда, случилось, у Ардовых не было места, жила у Заповых, у Ники Глен, М. С. Петровых, Л. Д. Большинцевой, М. И. Алигер, Шенгели... А ее ленинградская комната и позднее — комаровская дача («будка») являли собой прежнюю неприкаянность...

В 1956 году вернулся из лагеря Л. Н. Гумилев, чуть ли не позже всех. Анна Андреевна мучительно хлопотала о нем. Все вокруг возвращались, а ее хлопоты оставались бесплодными, и, мне кажется, она была на пределе всех

своих сил, когда Леву наконец освободили. Выдающиеся заслуги этого ученого были сразу же высоко оценены, и Анна Андреевна очень им гордилась, любила рассказывать о его успехах. И в чужих людях она очень ценила ученость, образованность, а тем более в своем сыне, который полжизни провел на каторге.

Лев Николаевич вышел из лагеря с последней волной реабилитации. Анна Андреевна стала о себе говорить: «Я — хрущевка, я из партии Хрущева». Долго она продолжала это твердить, настаивая, что Хрущев можно простить многое за то, что он выпустил из тюрьмы невинных людей. Пожалуй, только процесс Иосифа Бродского оборвал ее симпатии к Хрущеву. Бродского она очень любила, очень ценила его стихи. Мне кажется, это был единственный поэт из молодых, кто был ей действительно по душе.

И уж конечно горько пришлось ей во время истории с присуждением Пастернаку Нобелевской премии. Казалось бы, постановление ЦК о Зощенко и Ахматовой — в прошлом. И вот снова публичные поношения, гонения, позорные речи людей, которые, казалось бы, только что сами были гонимыми. Мрачные дни травли, когда никому не хочется друг на друга смотреть, глаз не хочется поднимать...

Когда Пастернак написал свое покаяние («Я пишу в «Правду», потому что люблю правду»), она мягко сказала: «Вот и не надо было рукопись давать итальянцам. Чем потом такие письма писать. В нашей стране на такие вещи могут идти только те, кто чувствует себя железным. А Борис ведь знал, что он не железный».

В конце пятидесятых годов страна пережила взрыв любви к поэзии. Молодежь узнала десятилетиями скрываемые стихи Цветаевой, Мандельштама, Заболоцкого.

Исключительно высоко и пронзительно Ахматова сразу же оценила Солженицына. Когда вышел номер «Нового мира» с «Одним днем Ивана Денисовича» и Солженицын стал необыкновенно популярен, он захотел побывать у Ахматовой, и она была этому очень рада. О свидании с ним она рассказывала в необычных для нее тонах. Ведь она привыкла к тому, что к ней приходят на поклон, а тут пришел человек, которому она сама готова была и хотела поклониться. Он читал ей свои стихи. На мой вопрос — хороши ли они — она уклончиво ответила: «Из стихов видно, что он очень любит природу». Не удовлетворило ее и то, что Солженицын сказал о ее стихах. Она ему читала «Реквием», он сказал: «Это была трагедия народа, а у вас — только трагедия матери и сына».

Отец Анны Андреевны рано умер — от первого приступа грудной жабы. Когда она расспрашивала врача о причине его смерти, врач сказал: «Вам эта болезнь не грозит. Во-первых, она не передается по наследству, а во-вторых, она почти никогда не бывает у женщин. Это болезнь служебных неприятностей». Судьба, однако, рассудила иначе, — у Анны Андреевны была стенокардия.

В последний раз я видела Анну Андреевну в Боткинской больнице, в середине февраля 1966 года. Она сидела в кресле в коридоре и ждала — не придет ли кто. Посетителей было то очень много, то никого.

Мы зашли в палату, и я вынула кое-что из сумки. Анна Андреевна посмотрела и обрадовалась: «Сок — вот спасибо! А то все почему-то яблоки приносят». Я побежала искать отвальвалку. Анна Андреевна отпила. Эта старая тучная женщина, сидевшая на высокой больничной кровати, в тапочках на босу ногу, все равно выглядела по-королевски. Я ушла в хорошем настроении, и ничто не подсказало мне, что я больше никогда ее не увижу.

Н. РОСКИНА

(Статья публикуется в сокращении)